



POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

CCLIX



Salamandra P.V.V.

**Жюль
ЛЕРМИНА**

ВАМПИР

Магическая новелла

Salamandra P.V.V.

Лермина Ж.

Вампир: Магическая новелла. — Б. м.: Salamandra P.V.V., 2018. — 67 с. — (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CCLIX. Вампирская серия).

В новелле французского беллетриста и фантаста Жюль Лермина «Вампир» (1890) читателя ждет встреча с очень необычным существом, которое трудно даже назвать человеком. Кто такой Винсент де Тевенен? Безумный ученый? Вампир? Преступный оккультист?

В издание также включена оккультная новелла Ж. Лермина «Магичка».



1819-2019

ВАМПИРСКАЯ СЕРИЯ

К

**200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ПУБЛИКАЦИИ
«ВАМПИРА» Д. ПОЛИДОРИ**

ВАМПИР

Магическая новелла

Пер. И. К. Ис-ва

I

Спустя три месяца после получения мною докторского диплома, в один из сентябрьских вечеров, когда, в ожидании случайных пациентов, я сидел в кабинете и усердно работал, — в передней прозвучал резкий звонок.

Невольно вздрогнув, я быстро пошел отворить.

Распахнув дверь, я увидел даму, одетую во все черное, лет сорока, довольно полную.

Она плакала. Я заботливо проводил ее в приемную и, несколько болтливо, предложил себя к ее услугам. Я еще не умел напускать на себя важности.

Дама была в таком волнении, и на нее так действовало восхождение на четвертый этаж, что некоторое время была не в состоянии произнести ни одного слова.

Я предложил ей воды.

В ответ она произнесла прерывающимся голосом:

— Доктор, умоляю вас... Поспешите как можно скорее... Мой ребенок...

Рыдания прервали ее слова. Но следовало ли что-нибудь еще прибавлять? Ей была нужна моя помощь и... для ребенка!

— Я в вашем распоряжении, — вскричал я, надевая шляпу. — Вы далеко живете?

— Нет, нет! В соседнем доме.. Простите, что потревожила вас, но это так близко...

Дорогой я стал ее расспрашивать, давно ли и чем болен ее ребенок.

— Она умирает, доктор! Шесть месяцев тому назад она была совершенно здорова и ею все любовались.

— Сколько ей лет?

— Десять. Вот мы и пришли. Я живу одна с дочерью, совсем уединенно. Нас никто не посещает, кроме господина Винсента.

— Господина Винсента?

Ей, должно быть, что-нибудь послышалось в моем голосе, потому что она живо прибавила:

— Он старик, доктор, лет шестидесяти или даже семидесяти... Он так добр и так любит мою Полину!..

Мы поднялись на второй этаж, и я очутился в небольшой, хорошо обставленной квартире. Через столовую, которая служила в то же время и гостиной, мы пришли в спальню. Там я увидел Полину, лежавшую на кровати.

Бедная девочка была до такой степени бледна, что, казалось, в ее жилах не было ни капли крови. Ее глаза, окруженные посинелыми веками, закатились; худые и длинные руки протянулись вдоль туловища, и их близна еще более выделялась на темном фоне одеяла.

— Свечу! — быстро приказал я.

Быстро и с глубоким вниманием начал я осматривать больную.

Передо мной была анемия в последнем периоде.

Но что ее вызвало?

Из расспросов матери выяснилось, что ребенок всегда пользовался прекрасным здоровьем и никогда не хворал. Питание было хорошее,

— Вот уже три года, как мы здесь живем, — говорила мать. — В квартире много света и воздуха, и она, кроме того, окнами выходит в сад. В школу Полину я не посылала, а господин Винсент, который дает ей уроки, слишком ее любит, чтобы изнурять ученьем.

Надо было исследовать внутренние органы.

Признаюсь, мне страшно было дотронуться до этого хрупкого создания, на которое смерть, казалось, уже

наложила свою роковую печать. Тем не менее, я все еще надеялся.

По мере того, как шло исследование, я терялся все больше и больше. Все важные органы были в полном порядке! Ни в сердце, ни в шейных венах не было слышно характерного для анемии шума. Легкие были в прекрасном состоянии и вполне развиты для ее лет. Под этой хрупкой оболочкой скрывалось исключительное развитие жизнеспособности. Но тем не менее, я должен был сознаться, что мои усилия ее спасти не приведут ни к чему. Я чувствовал себя бессильным, подавленным. Я не понимал этой странной болезни, не мог объяснить такого необычайного истощения организма. В смущении, сбитый с толку, я не знал, что предпринять, и ждал вдохновения. Они не приходило...

Мать молча смотрела на меня и, конечно, угадывала мою тревогу. Я еще не умел скрывать свои ощущения и свое бессилие под банальными фразами.

В этот момент слышались чьи-то шаги в соседней комнате.

— Это господин Винсент, — сказала мать,

Едва только дверь приотворилась, как девочка, лежавшая неподвижно на постели, вдруг приподнялась, повернула голову и протянула руки по направлению к двери.

Я бросился ее поддержать и, к своему великому изумлению, почувствовал, что девочка вырывается из моих рук с необыкновенной в ее положении силой. Но вот дверь затворилась, и девочка упала мертвой.

Я вскрикнул от удивления и отчаяния: такая быстрая, без агонии, смерть меня поразила, как громом...

Мать с плачем упала на труп дочери... Я вышел из спальни.

В столовой я увидел в первый раз господина Винсента. Среднего роста, довольно плотный, он был одет

в светло-серый костюм. Что меня в нем поразило — это его наружность, по которой никак было нельзя определить его возраст. Голова его была покрыта короткими, белыми, вьющимися волосами, составлявшими три хорошо образованных мыса на висках и на лбу. Лицо было такое розовое и имело такой свежий вид, глаза светились таким почти юношеским блеском, что я положительно затруднился бы, не зная его лет, определить: старик передо мной или юноша с напудренной головой.

Он стоял у окна опечаленный, но не настолько, как можно было ожидать, судя по словам матери о его любви к бедной Полине.

Он вежливо поклонился и вопросительно на меня взглянул.

— Она умерла, — ответил я на его немой вопрос.

Внезапная судорога исказила его лицо, которое приняло старческое выражение.

Не сказав ни слова, он схватил шляпу и стремительно бросился к дверям, точно спасаясь от какой-нибудь опасности и как бы объятый страхом.

Я подумал, что бегство друга в такой тяжелый момент увеличит отчаянье матери и хотел было отправиться к ней, как вдруг услышал стук в дверь.

«Это, верно, вернулся Винсент», — подумал я.

Но оказалось, что это были две соседки, пришедшие узнать о Полине.

Когда они узнали о ее смерти, то покачали головами.

— Так и должно было кончиться, — сказала одна.

— Что вы хотели этим сказать? — поспешно спросил я.

Женщина собиралась ответить, когда мать Полины, услышав знакомые голоса, вышла из спальни и бросилась к ним, рыдая.

Моя роль была окончена. Я поклонился и вышел, испытывая чувство невыразимого облегчения.

Я медленно спускался с лестницы, подавленный тойской.

Мне казалось, что позади я оставлял какую-то тайну.

Когда я проходил мимо комнаты привратника, он меня остановил.

— Ну что, господин доктор? — начал он.

— Меня позвали слишком поздно, — поспешил я ответить.

Привратник удивленно посмотрел на меня, точно не понимая моих слов. Я вкратце объяснил ему, в чем дело.

Он испустил энергичное проклятие и, показывая кулак какому-то отсутствующему врагу, проворчал:

— А, разбойник!... Если бы вы знали только, сударь, какая это была здоровая девочка. Просто богатырь.

— Сколько времени она хворала?

— Шесть месяцев, сударь, ровно шесть месяцев!

— Кого это вы назвали сейчас... разбойником?

— Да его, этого старикашку, который имел только кожу на своих костях и пришел кормиться у матери в ущерб дочери. О, он попользовался!

— Как, вы предполагаете, что она умерла от голода? — вскричал я.

— А от чего же другого тогда?

— Полно болтать, иди и не суй нос в чужие дела, — послышался голос жены привратника, — это дело врача — знать правду.

— В сущности, это верно, — произнес привратник и круто оборвал разговор.

Я вернулся домой взволнованный, почти рассерженный. В первый раз обратились к моей «науке» — и смерть преградила мне путь.

«Ты не пойдешь дальше!» — слышался мне ее злобный голос, и эти слова величайшей безнадёжности меня терзали. Мне необходимо было собраться с мыслями, сгруппировать и тщательно проанализировать факты и попытаться объяснить смущавшие меня сомнения.

Прежде всего, я стал искать в медицинской литературе описания аналогичного случая; перерыл все свои книги и ничего в них не нашел такого, что могло бы хоть отчасти меня удовлетворить. Симптомы болезни Полины никак не согласовались с состоянием ее внутренних органов, и по мере того, как я в этом убеждался, смущение овладевало мною все сильнее.

Можно ли было верить словам привратника о дурном содержании ребенка?

Но они вполне опровергались физическим развитием Полины и искренним горем ее матери, доказывавшем ее любовь.

Но почему же две кумушки, казалось, так хорошо понимали то, что для меня оставалось необъяснимым? Почему привратник как бы обвинял странную личность, известную мне под именем господина Винсента, который произвел на меня тяжелое впечатление и которого я не имел права подозревать? И на чем бы я мог основать свои подозрения? Как ни ужасны были некоторые предположения, я нарочно останавливался на них и, снова группируя свои наблюдения, приходил к заключению, что эти догадки не имели никакого разумного основания.

Есть лица, которые не обманывают; к числу их принадлежало и лицо матери, дышащее наивысшей честностью. Она любила свою дочь и никогда ее не покидала... Нет, нет, бесполезно было идти по пути, о котором все говорило, что он ложный.

В конце концов все эти рассуждения до такой степени меня расстроили, что я не мог оставаться один. У меня явилась настоятельная потребность слышать человеческие голоса и освежить свой мозг. Я вышел на улицу.

* * *

...Когда я вошел в кружок света, бросаемого газовым бра, озарявшим двигавшиеся группы молодых людей, послышался звук приветствия.

Со времени защиты диссертации, мои знакомые видели меня раза два-три. Раздались веселые восклицания, потянулись руки, чтобы усадить меня на столик. Я не заставил себя просить. Тоска моя исчезла. Посыпались перекрестные вопросы, на которые я едва успевал отвечать. Я должен был объяснить причину своего уединения и защищаться против обвинения в забвении друзей, рассказать о планах и надеждах, а главное — пить и пить в неимоверном количестве алкоголизированную бурду, именуемую почему-то пивом и обладающую свойством, к великой радости торговцев, увеличивать жажду прогрессивно выпитому количеству. По мере того, как наполнялся мой желудок, мысли становились ясней, и факты недавнего печального события получали иное освещение. Вместе с тем у меня явилось желание рассказать о своем приключении.

Так как дело шло о ребенке, вечной проблеме, волнующей самых закоренелых скептиков, то меня слушали внимательно, и никто не смеялся, когда я рассказал о горечи, причиненной мне моим невежеством.

— Послушай, — сказал мне Гастон Дюссо, молодой доктор, заслуги которого мы все признавали, — я не

имею претензии дать тебе ключ к загадке, которую ты нам загадал. Мое замечание будет скорее общего характера. Существуют два периода в жизни врача. К первому — время молодости — относится горячая любознательность, самоотвержение, не знающее преград, желание победить зло. Это также время усиленной работы, с 15 или 20 часами чтения или письма при свете чадающих свечей. И в разгар нашей работы мы не замечаем, как жизнь движется вокруг нас и идет вперед. Мы затыкаем уши, чтобы не слышать шума, который производит человечество — великий больной, страдающий легкими, сердцем и мозгом. Мы требуем уже науки готовой, такой, какую прошлое втиснуло в рамки книг in 8°, громадных по своей тяжести и недоступных по цене. И нам не хватает времени, чтобы изучить тайну жизни и смерти по единственной книге, всегда открытой, иллюстрированной вечно новыми схемами, правдивыми и убедительными. И эта книга — вот она!

Широким жестом он указал на бульвар. Газ бросал белесоватые лучи света на колеблющуюся бесконечную толпу гуляющих.

— Вот великий учебник наружной и внутренней патологии, — продолжал Гастон, — вот физиология действий. Разве видим мы нечто подобное, забившись в больницы и кабинеты? А ведь это только один том, глава, параграф медицинской энциклопедии, которую составляет общество. А! — вскрикнул он голосом, искренность которого нас тронула, — иметь время, то есть деньги, и всецело посвятить себя чтению этой живой библиотеки, этого универсального словаря, каждая страница которого есть человек, разобрать его, изучить и уже после этого заняться лечением недугов. Потому что тогда вскрывали бы не трупы, а живые существа. Десять лет таких наблюдений с таким великолепным рвением, с которым мы изучаем такую косную науку, как

наша, и над нами засверкало бы пламя истинного знания...

Во второй период — дело идет еще хуже. После усиленной работы, остальную часть жизни мы употребляем на то, чтобы сделаться новым человеком, разочарованным, скептиком, невеждой, банальным практиком-рутинером, который зарится на орден и академию. Мы делаемся как бы слепыми, когда бросаем книги и не видим человека.

В этот момент я вскрикнул и, дотронувшись до Гастона, сказал:

— Смотри!

Он взглянул, куда я указывал.

— Кто этот человек? — спросил он.

— Это тот самый старик, о котором я только что говорил: господин Винсент.

Старик приближался медленно, тяжело, и я вздрогнул, увидев невероятную перемену, которая произошла в нем в продолжение такого короткого промежутка после нашей встречи.

Он мне показался мертвенным, худым, сгорбленным, разбитым.

При каждом шаге он поворачивал свою худую шею, озираясь по сторонам, и мне казалось, что я слышу скрип костей его позвоночника.

— Э, — воскликнул один из нас, — это старый Тевенен! Разве он еще не умер?

— В самом деле, он, — сказал Гастон, внимательно смотря на него, — я сперва его не узнал.

— Но кто такой этот Тевенен? — нетерпеливо спросил я.

— Я его встретил несколько месяцев тому назад, — продолжал Гастон, не отвечая мне, — и он выглядел тогда бодрым и помолодевшим...

— Но ведь я сам, несколько часов тому назад, увидев его, думал, что передо мной почти молодой человек, — сказал я. — Возможно, что на него так повлияло горе...

— Пойдем, — сказал мне Гастон, — я тебе расскажу все, что о нем знаю.

В одно мгновение мы настигли Тевенена, который шел по бульвару. Его узкая спина, казалось, принадлежала выходцу с того света.

— Говори, — сказал я Гастону, — рассказывай скорей об этой странной личности, которая меня беспокоит, сердит и в то же время интересуется.

— Пойдем сперва за ним, — отвечал Гастон. — Я знаю его прошлое, и мне хотелось бы узнать кое-что из его настоящего.

Тевенен шел, поминутно оглядываясь, останавливаясь у кофеев, как будто всматриваясь в посетителей.

— А может быть, и в посетительниц! — смеясь, прибавил Гастон.

— Это, впрочем, шутка, — продолжал он, — потому что, помимо всегдашней целомудренности Тевенена, ему теперь должно быть более ста лет.

— Ста лет!!

— Мне тридцать пять, — сказал Гастон, — а когда было пятнадцать, тот, от кого я услышал историю Тевенена, говорил, что он жил уже в 1780 году.

Старик продолжал скользить, как призрак (у него была какая-то необыкновенная походка), и мы стали бояться, как бы он не исчез бесследно. Дойдя до конца бульвара, он вдруг остановился в нерешительности, как бы не зная, в какую сторону идти.

Гуляющих стало мало.

Стоя недалеко от него, мы видели его жесты, выражающие и гнев, и отчаяние. Он еще сильнее сгорбился и казался совершенно дряхлым.

Наконец, он принял какое-то решение и свернул в боковую улицу.

Через несколько минут он подошел к воротам одного дома, у которых сидела женщина, по виду привратница, вышедшая подышать вечерней прохладой. Она держала на руках мальчика, 6-7 летнего крепыша.

Едва мальчуган заметил Тевенена, как соскочил с колен матери и стремглав понесся ему навстречу.

Налетев на него, он так толкнул старика, что, как нам показалось, тот едва устоял на нотах. Но опасения наши были напрасны. Тевенен с силой и ловкостью поднял ребенка и стал его целовать. Он целовал его долго.

— Бедняга, — прошептал я с умилением, — он вспоминает об умершей малютке.

Между тем, толстуха-привратница бранила своего мальчугана:

— Оставишь ли ты господина Тевенена, маленький негодяй? — кричала она. — Прошу вас, господин Винсент, простить его.

Трепля ребенка по щекам, он что-то такое ответил, чего мы не расслышали.

— О, я прекрасно знаю, что вы, господин, баловник всех детей, — продолжала женщина, — зато, как только они вас завидят, так и рвутся к вам: никак их не удержишь.

Винсент в дом не входил, хотя привратница посторонилась, давая ему дорогу.

Он как бы колебался и, наконец, робко сказал:

— Вы не хотите доверить его мне... Я бы научил его кое-чему хорошему!

— Ах, я бы с удовольствием, господин Винсент. Но ведь вы знаете, что он живет в деревне у своей бабушки, которая в нем души не чает, и самой-то мне при-

ходится кланяться, чтобы выпросить его на недельку... И, кроме того, там такой чудесный воздух!..

Винсент не настаивал. Он еще раз поцеловал ребенка и исчез в длинном коридоре. Он казался помолодевшим.

Гастон подошел к привратнице и спросил:

— Господин, который сейчас вошел, не Винсент ли Тевенен, ученый?

— Да, сударь. Да, ученый, и притом такой прекрасный человек! Поистине, отец детям. И они, плуты этикие, хорошо это знают: целый день вытягивают у него копейки...

— Он здесь живет?

— Уже десять лет...

— Я его когда-то знал. Он мне показался очень постаревшим.

— Ну, не очень-то доверяйтесь его виду. Полгода тому назад он был так плох, что, казалось, вот-вот умрет. И вдруг, словно колдовство какое... Я уж не знаю, что он такое придумал, чтобы вылечиться, но только меньше, чем в шесть недель, он совершенно переродился, да так, что будь я вдовой...

Она откровенно засмеялась, как женщина, позволяющая себе, по своему солидному положению, немножко позубоскалить.

— Но сколько же, по-вашему, ему лет? — спросил я.

— О, пустяки: лет девяносто пять, а то и побольше.

— Вот человек! — воскликнул Гастон, когда мы удалялись и возобновили прогулку. — Очень уважаемый и почитаемый и любящий детей... Что ты о нем скажешь?

— Ничего. Я жду его истории.

— Она, в сущности, весьма проста для нас, знакомых с наукой.

Винсент де Боссай де Тевенен — последний потомок большого семейства, эмигрировавшего за границу в эпоху великой революции. Его отец был одним из ста акционеров знаменитого Месмера, за которым он последовал в Швейцарию, где, как ты знаешь, этот знаменитый тавматург жил до своей смерти, последовавшей в 1816 году. Де Боссай-отец вернулся во Францию вместе с Бурбонами и вскоре умер. После него остался сын Винсент, который нас теперь интересует. Он был учеником Карра и Зоссюра, достиг в медицине ученых степеней и привязался к знаменитому Делезу, которого во время реставрации называли Гиппократом животного магнетизма.

С тех пор он, по-видимому, порвал с академической рутинной, был в течение нескольких лет секретарем магнетического общества, основанного маркизом Пюнсегюром, и сделался наконец секретарем, а затем другом, alter ego маркиза де Мирвиля, директора Авиньонского общества и автора одной очень странной книги о духах и их флюидических проявлениях.

Я быстро прервал Гастона.

— Вообще, этот великий ученый спирит... сумасшедший!..

— К чему так горячиться? — улыбаясь, сказал Гастон. — Если бы кто-нибудь пятьдесят лет тому назад заговорил об успехах техники, не говоря уже о современных нам научных открытиях, нашедших применение в жизни, то его наверняка упрятали бы в сумасшедший дом. Думаешь ли ты, что Крукс, открывший новый металл — таллий — и предложивший досадную задачу о радиометре, был тоже сумасшедший? — прибавил Гастон, оживляясь. — Ну, так почитай его последние изыскания и решишь тогда сказать мне, что то «нечто» в твоём сознании, которое ты считал незаблемым, так же осталось непоколебимо.

Но возвратимся к Винсенту. С 1825 года этот человек, в котором соединяются удивительное терпение факира с деятельной настойчивостью исследователя, был главой всех этих странных людей, называемых магнетизерами и вообще занимающихся магнетизмом, людей, более многочисленных, чем думают, и чистосердечие которых стоит вне всякого подозрения. Александр Бертран, Жорже были его учениками, а между тем, Тевенен никогда не позволил им произносить своего имени. Он не вмешался непосредственно в известный спор с Академией, которая, несмотря на доклад Гюссена, пришла к абсолютному отказу считать магнетизм серьезным предметом. Ты, конечно, знаешь, что я говорю о решении Академии в 1887 году по инициативе доктора Дюбуа д'Амьенса.

Доктор Тевенен не протестовал: наоборот, он, казалось, вовсе не интересовался вопросом и порвал со своими последователями. Но я знаю из достоверных источников, что он не бросил своих занятий. Человек, от которого я узнал все эти подробности и который был одним из последних учеников Тевенена, — за несколько месяцев до своей смерти сознался мне, что наука учителя его ужасала.

«Не думайте, — сказал он в заключение, — что тут какое-нибудь шарлатанство, нет, это действительно наука, а ее адепт, Винсент, человек холодный и положительный, неспособный фантазировать или заблуждаться. Он идет медленно от точки до точки, подвергая самой тщательной проверке каждый пройденный шаг».

— Ты понимаешь, — продолжал Гастон, — как я хотел узнать подробности? Пусть будет наука! Но какая? На все вопросы, которые я ему надавал, мой друг отвечал уклончиво, очевидно, не желая выдавать секреты своего учителя. Тем не менее, мне все-таки удалось кое-что узнать, хотя, в сущности, очень немного. Вин-

сент не занимался «вторым зрением», угадываньем будущего и тому подобными штуками. Его труды были строго научными и ограничивались областью физиологии или даже физики. Он занимался «излучением силы» (термин Крукса) из человеческого тела без помощи материальных проводников, силы, обладающей или притяжением, или отталкиванием.

Ты видишь, что отсюда до гипнотизма и внушения один только шаг. И вот я отправился к Винсенту удовлетворять свое любопытство. Он произвел на меня такое впечатление, какого раньше я никогда не испытывал. Когда я сказал ему, ссылаясь на своего, тогда уже умершего, друга о желании моем быть его учеником, он окинул меня пристальным взглядом, в котором было нечто странное, не поддающееся описанию. В один миг я погрузился в необъяснимое состояние, которое, однако, не было похоже ни на сомнамбулическое онемение, ни на гипнотическое очарование... Мне показалось, что я испытываю какое-то неодолимое притяжение. Пойми хорошенько, что я тебе сейчас скажу: мое тело оставалось на месте, его не влекло к Винсенту, но я *чувствовал*, как *нечто* выходило из всей его поверхности, из всех пор, и стремилось к старому доктору. Это длилось не более нескольких секунд и вдруг прекратилось.

— Сколько вам лет? — отрывисто спросил Тевенен.

— Двадцать шесть.

— Вы слишком много работаете, — продолжал он, — вы израсходуетесь слишком рано. Поберегите себя.

Его слова меня удивили, как я был совершенно здоров, жизнерадостен и полон сил, хотя после только что испытанного ощущения, о котором я тебе говорил, я и чувствовал усталость, как бы после какого-нибудь излешества.

Я попытался вернуться к цели моего визита, но он меня прервал.

— Не ждите от меня ничего, — сухо сказал он. — При настоящем состоянии знаний или, скорее, пред лицом всеобщего невежества мне запрещено сообщать кому бы то ни было то, что я знаю.

— Но почему же? — вскричал я. — Почему не помочь нам, молодым людям, в борьбе против рутины?

— Почему? — переспросил он, вставая и смотря на меня пылающим взором. — Потому что... потому, что моя наука преступна!

И, не дав мне произнести ни одного слова, с поразительным красноречием стал разбирать состояние нашей современной «положительной» науки. Не было таких систем, теорий и открытий, которых бы он не изучил и не проверил. Подавленный такой колоссальной эрудицией, таким беспримерным энциклопедизмом, я слушал его красивую, полную образов речь. С нескрываемым, порой ядовитым сарказмом он бичевал предрассудки, нерешительность и трусость, которые останавливали всех работников и исследователей на пороге науки. Неведомый пророк — он предсказал успехи, каких мы добьемся, и его предсказание сбылось. Он положительно видел по ту сторону нашего горизонта, и я впоследствии оценил точность и верность его дедуктивных выводов.

Кончив, он отпустил меня, прибавив:

— Я отказываюсь посвятить вас в мою науку, ибо она преступна, потому что она в сотни раз увеличивает ужасное неравенство между борцами за жизнь.

После этих загадочных слов он замолчал, и я должен был удалиться, унося с собою впечатление восхищения, смешанного с ужасом. Признаюсь, этот человек показался мне каким-то сверхъестественным существом, великим и в то же время мрачным!.. Было ли тому причиной первое возбуждение или что другое — не знаю. Могу сказать тебе только одно: если бы я захотел

определить, не размышляя, а вдруг разом, по первому впечатлению, старого Тевенена, я назвал бы его мудрецом-вампиром. Можешь смеяться, если тебе угодно, но эта мысль и теперь иногда появляется у меня в голове. Почему? Я никогда не мог дать себе ясного в этом отчета и даже в настоящее время затруднился бы это сделать. Если хочешь, доискивайся сам причины. Однако, поздно. Вернемся.

— Еще одно слово, — сказал я. — Виделся ли ты потом с Винсентом?

— Да, несколько раз. Я встречал его неоднократно. Он казался то старым, разбитым, как, например, сегодня вечером, то, наоборот, помолодевшим, жизнерадостным и бодрым.

— И ты считаешь, ему сто лет?

— Вспомни числа, которые я тебе назвал, и сочти.

Мы расстались, и вскоре я один, у себя, при свете лампы, возобновил прерванные занятия.

II

Часто смеются над той стремительностью, с какой дети переходят от одной мысли к другой. В то время, как их внимание поглощено одним, — вдруг пролетает мушка, и течение их мыслей изменяется. Они забывают о том, что их недавно интересовало...

Так ли велика разница между детьми и взрослыми?..

Если бы кто-нибудь спросил меня, какие обстоятельства помещали моему твердому намерению повидать господина Винсента и постараться его изучить, я бы очень затруднился ответить. Вернее всего, мне мешала сама жизнь с ее волнениями и постоянной сменой впечатлений; и лишь время от времени, в часы досуга, у меня появлялось иногда воспоминание об этом странном человеке, и то в виде неясного образа, без определенных контуров.

Таким образом прошло два года, за которые в моей жизни произошли существенные перемены: умер мой отец, оставив маленькое состояние, скопленное по грошам с изумительной выдержкой крестьянина, отказывавшего себе во всем ради обеспечения будущности своего ребенка. Образовалась клиентура, и я отказался от мысли о профессуре. Наконец, я женился и стал отцом прелестной девочки.

Годы бежали.

Я совсем забыл старого Тевенена и его преступную науку. Мои дела окончательно устроились, я ни в чем не нуждался и был совершенно доволен судьбой. Мои работы по нервным болезням наделали шума и льстили моему самолюбию. В семье все было благополучно, дочь росла, обещая сделаться красавицей. Словом, я

был совершенно счастлив.

Но спустя десять лет после первой встречи с Винсентом де Тевененом, судьба меня вновь с ним свела, и это произошло следующим образом.

Мой брат, доктор Ф., директор лечебницы для умалишенных, однажды передал мне записку с просьбой приехать для исследования одной из его больных. Дела меня задержали на несколько дней, и он вновь написал мне, настойчиво приглашая приехать. Дело шло об очень интересном феномене раздвоения личности. Я поехал. В течение нескольких часов мы производили разные опыты, один интереснее другого, и только боязнь сильно утомить больную заставила нас их прекратить. Мы вышли в сад, прилегающий к великолепному зданию, известному всей Европе, и мой коллега, проводя меня, сообщил мне о результате своих личных наблюдений над занимавшей нас больной. Когда мы подошли к решетке сада и собирались уже распрощаться, условившись завтра встретиться, из аллеи лавров выскочил маленький мальчик и бросился к доктору. Тот приподнял его и, показав мне, сказал:

— Мой сын... восемь лет... хороший мальчуган.

Это был очень красивый ребенок, с нежными чертами лица, немного бледного. Я приласкал его и, вспомнив о своей дочурке, такой розовой и свежей, сказал:

— Почему ты так скоро бежал? Можно подумать, что ты от кого-нибудь спасался.

— О, это для смеха, — отвечал мальчуган, — чтобы подразнить господина Винсента!

— Господина Винсента? — вскричал я. — Какого Винсента?

Это имя прозвучало в моей памяти, как звук отдаленного рожка.

— Ах, боже мой, один только и есть господин Винсент... Это папа Гато!

Пана Гато! Десять лет тому назад так называли Винсента Тевенена.

— Это очень странная личность, — прибавил мой коллега.

— Не Винсент ли Тевенен?

— Он самый. Вы его знаете?

— Он еще не умер?!

— Ах, вы тоже считали его несуществующим, — сказал доктор, смеясь. — Отнюдь нет. Около ста пятнадцати лет, мой милый. Вот после этого и говорите, что сумасшествие не есть привилегия на долговечность.

— С каких пор он у вас?

— Около четырех месяцев. А поступил он при весьма любопытных обстоятельствах, о которых я вам расскажу завтра. Уже шесть часов.

— Уже. И я тоже сильно запоздал. Итак, до завтра, и поговорим о Винсенте.

— К вашим услугам, дорогой брат.

* * *

Когда я остался один, меня охватили воспоминания. В одну секунду промелькнуло предо мной прошлое: маленькая квартира, в которой я терпеливо ждал пациентов, несчастная мать, пригласившая меня к умирающему ребенку, прогулка и разговор с Гастоном. Я задал себе вопрос: был ли бы я теперь в состоянии оказать помощь несчастной девочке, и содрогнулся невольно от сознания, что и теперь, как и тогда, я был бы так же беспомощен, так как ничего не понимал в загадочной болезни. Я старался спасти свою гордость, предполагая, что по своей былой неопытности не заметил какого-нибудь важного симптома, который в настоя-

щее время, несомненно, не ускользнул бы от моего внимания. Но это было напрасно: внутренний голос говорил, что я себе лгал. И если бы завтра мне пришлось натолкнуться на аналогичный случай, я был бы так же беспомощен, как и 10 лет назад. Мое самолюбие страдало, а мысль все сильнее стремилась к доктору Винсенту, к этому бледному, почти фантастическому образу. Он все еще жил, жил, несмотря на ужасную дряхлость, так поразившую Гастона и меня, когда мы следовали за ним по улицам.

Каким же чудом он еще жил под бременем ста десяти лет?

Мне припомнились странные слова, переданные Гастоном:

— «Моя наука преступна, потому что она в сотни раз увеличивает ужасное неравенство между борцами за жизнь».

И хотя эти слова в действительности ровно ничего не значили, но, повторяя их мысленно, я все же испытывал некоторую робость, как перед неразрешимой загадкой, скрывающей ужасную тайну.

Я долго не мог избавиться от этого ощущения и успокоился только на другой день. Зато любопытство узнать подробности о Винсенте возросло до крайних пределов.

В назначенный час я снова был у доктора Ф., который показался мне немного озабоченным. Спросив с участием о причине тревоги, я узнал, что его беспокоит с некоторого времени здоровье сына. Но страсть исследователя взяла верх над чувством отца, и мы пошли к больной, где провели несколько часов, погруженные в наблюдение ледящих душу явлений каталепсии и гипнотизма.

Когда же, усталые, мы вернулись в кабинет и поделились нашими наблюдениями, я сказал доктору Ф.:

— Теперь позвольте мне напомнить вам вчерашнее обещание — подробно рассказать о Винсенте.

— Я лучше дам вам прочесть мои записки, — произнес доктор. — Я имею привычку, принимая клиентов, записывать интересные обстоятельства первого с ними знакомства.

Доктор встал, открыл один из картонов, вынул несколько исписанных листов бумаги и, подавая, сказал:

— Читайте, а я пойду сделать кое-какие распоряжения.

* * *

Вот что я прочел:

«Сегодня, 15 апреля 190..., в шесть часов вечера мне подали карточку, на которой значилось: “Винсент де Боссай де Тевенен, доктор Парижского факультета”. Я привскочил от удивления. Как психиатр, я специально занимался историей животного магнетизма, и меня не могло не поразить это имя, принадлежащее одному видному ученому очень отдаленной эпохи. Он был современником по крайней мере моего деда. Я приказал немедленно просить посетителя и, спустя несколько секунд, увидел бодро входящего в кабинет почтенного старца с пергаментным лицом.

После обоюдных приветствий я спросил его, чем могу быть полезным.

— Я пришел, — сказал он твердым голосом, — просить вас принять меня пансионером. Постойте... — живо прибавил он, заметив мой жест удивления.

— Извините, — перебил я его, — но вы действительно доктор Тевенен?

— Бывший ученик Месмера и друг де Пюнсежюра. Совершенно верно.

— Но сколько же вам, в таком случае, лет?

— Сто девять.

— Но знаете ли вы, что моя лечебница назначена специально для душевнобольных?

— Я это знаю и повторяю мою просьбу. Я сумасшедший.

Как ни привык я ко всяким нелепым выходкам моих пациентов, эта все-таки меня удивила.

— Позвольте мне в этом усомниться, — улыбнулся я. — Вы кажетесь совершенно здоровым.

— Вы ошибаетесь, — спокойно произнес он. — Я действительно сумасшедший и притом один из самых опасных, какие только существовали и существуют.

— Пусть будет по-вашему. Но так как вы доктор, да еще известный ученый, то я хотел бы вас просить изложить мне наблюдения, которые вы, без сомнения, делали над своей болезнью.

Он посмотрел на меня проницательным взглядом, и я понял, какой силой в молодости должен был обладать этот человек. Передо мной был истинный адепт магнетизма.

Он хранил молчание в течение нескольких секунд и как бы меня изучал.

Я, между тем, продолжал:

— В данное время вы, без сомнения, находитесь в моменте просветления, если допустить ваше предположение?

— Нет.

— Но позвольте: ни ваше лицо, ни ваш взгляд не имеют характерных признаков безумия...

— Самые опасные безумные те, — проговорил он, — состояние которых не может заметить ни один человеческий глаз.

И затем тихим, слегка дрожащим голосом добавил:
— Вот уже пятьдесят лет, как я сошел с ума, и никто из ученых не подозревает моего состояния.

— Но, наконец, — вскричал я, — в чем же заключается ваше безумие и как оно проявляется? Вы себя считаете Магометом или Христом, воображаете стеклянным и боитесь разбиться? Замечаете раздвоение личности?

— Я, — произнес он с сильной уверенностью, — я человек, который никогда не умрет и который до этого дня не хотел умереть.

— Итак, вы признаете, что можете продлить свою жизнь на сотни, а то и на тысячи лет, до бесконечности?

— Совершенно верно.

— Вы владеете средством для продления жизни?

— Только своей собственной.

— Великое делание! философский камень! — вскричал я.

— Ни то, ни другое. Алхимия тут ни при чем!.. Мое средство ничего не имеет с ней общего.

— И это средство... Расположены ли вы мне его назвать?

Я уже не сомневался, что имею дело с маньяком.

— Я ничего больше не могу сказать по двум причинам...

— Каким?

— Первая та, что, открыв вам свой секрет, я тем самым объявлю себя в глазах общества преступником...

— Но вы сами, — перебил я его, — признаете себя таковым?

— С точки зрения высших законов борьбы за жизнь — нет.

— Вы убивали?

— Да, — ответил он без всякого колебания.

- Ваши преступления были открыты?
- Нет.
- В совершении их были заподозрены другие?
- Нет.
- Но ваши жертвы... Что с ними случилось? Вы их скрыли?
- Нет.
- И никто никогда не заподозрил их насильственную смерть?
- Никто и никогда.
- Его безумие выяснялось все больше и больше.
- Вы мне сказали одну причину. Какая же вторая?
- Вторая та, — важно сказал он, — что будет одно из двух: или, узнав мой секрет, вы будете бессильны его применить, следовательно, бесполезно его открывать, или же сможете им воспользоваться и будете совершать преступления.
- Без сомнения, — улыбнулся я. — Что это? Какой-нибудь яд, не оставляющий следов?
- Не старайтесь угадать: все равно не сможете. Да это и лишнее. Я пришел к вам, как к психиатру, чтобы сказать: “Я опасный сумасшедший, которого надо лечить. Согласны вы меня принять?”
- Поступая в мою лечебницу добровольно, вы вправе ее оставить, когда вам заблагорассудится, — сказал я. — Я вас приму, но не иначе, как после освидетельствования двумя врачами, которые должны удостоверить вашу болезнь. Согласны на это?
- Да. Теперь я попрошу вас выслушать мои условия.
- К вашим услугам.
- Я к вам поступаю с целью умереть, ибо еще раз повторяю, что, оставаясь на свободе, в решительный момент не выдержу и опять прибегну к своему средству, чтобы избежать смерти. Здесь же, у вас, я не в силах

буду этого сделать, и природа вступит в свои права. Поэтому я требую, чтобы на меня смотрели так же, как и на других больных, и решительно никого не допускали ко мне из посторонних.

— Есть у вас родственники или друзья?

— Я совершенно одинок. Мною никто не интересуется.

— Я вам могу обещать, что ваше желание будет исполнено в точности... если высшая администрация не потребует вас.

— О, этого не случится! Итак, никто, кроме вас и ваших ассистентов, не должен меня посещать. Я же, со своей стороны, могу вас уверить, что никого не потревожу. Кроме того, могу вам сказать наверное, что больше трех месяцев не проживу.

— Имейте в виду, что применяемый у нас надзор включает всякую возможность самоубийства.

— Эта сторона дела меня мало интересует.

— Заметьте еще, — продолжал я, — что прежде, чем вас поместят в выбранную вами камеру, вы будете тщательно осмотрены, и все, что у вас найдут — будет отображено.

— Увы, — произнес он, улыбнувшись первый раз, — у меня, к сожалению, не могут отобрать моих ста девяти лет. Я знаю, как велик запас моей жизненной силы... больше, чем на двенадцать недель, ее не хватит.

На этом мы покончили наш разговор, и я скоро принял к себе этого странного пациента, который был очень комфортабельно помещен, так как внес очень высокую плату».

Здесь рукопись доктора кончалась. На ней стояла пометка: «Павильон 2. № 17».

Чтение произвело на меня глубокое впечатление и еще сильнее разожгло любопытство. Старый доктор Винсент оставался для меня не менее загадочным.

Вошел мой собрат.

— Ну, — спросил он, — что вы думаете о старом мессеристе?

— Не знаю, что вам сказать. Я даже затрудняюсь определить, безумен ли он. Тевенен поступил к вам 15 апреля, а теперь 10 сентября, и он, если я не ошибаюсь, еще жив. Следовательно, его предсказание не сбылось, неоспоримый диагноз оказался ошибочным!..

— Безусловно.

— В каких условиях он живет?

— Как и всякий пансионер. Сначала он подвергся осмотру моих двух коллег, в свою очередь признавших его маньяком. В сущности, случай был самый обыкновенный, и мнения разойтись не могли. Затем его поместили в отдельный павильон и обставили с большим комфортом, имея в виду дать ему возможность наиболее приятно провести последние годы или месяцы жизни. Специально для его услуг приставлены двое надзирателей. Он собрал научную библиотеку из самых любопытных и редких книг и много работает. Сообщаю одну подробность, доказывающую ненормальность его умственных способностей: в течение пятнадцати дней он лежал совершенно обнаженный в своем садике по несколько часов в день. Он говорил, что производит один крайне важный опыт. Так как это было в июне, во время жары, то я ничего не имел против его фантазии и ему не препятствовал.

В течение первого месяца я не заметил в нем никакой перемены. Но на исходе второй половины мая стали обнаруживаться признаки дряхлости. Тогда-то он и стал производить свой странный опыт. Замечая, как он хилеет, я начал верить в его предсказание и полагал, что больше двух месяцев ему не протянуть. Когда припадки наготы, простите за выражение, окончились, мы возобновили с ним наши прежние отношения. Признаюсь,

я редко встречал у кого-либо из коллег такую эрудицию и смелость выводов. Если бы этот человек, думал я, не имел двойной мании — магнетизма и управления жизненностью по своей воле, — я признал бы его одним из самых великих ученых нашего времени. В первых числах июля силы его ослабели еще больше, но ясность ума осталась прежняя. Мне было грустно смотреть на этого столетнего старца, не имевшего никого близких и проводившего свои последние дни в одиночестве, сидя в кресле, и жадно искавшего оживляющих лучей солнца. Однажды он сказал мне, что обожает маленьких детей, и я привел к нему своего мальчика. Я не стану описывать, какой радостью озарилось его лицо. Если бы я не знал его так хорошо, то, пожалуй, меня испугал бы тот огонь, которым загорелись его глаза. Что касается моего маленького Жоржа, то его симпатия к старику не замедлила проявиться. Он обошелся с ним, как со старым знакомым. С того момента не было дня, который Жорж провел бы без него, часто оставаясь с ним по несколько часов. Это развлечение прямо оживило старого доктора, и мне показалось, что он помолодел на много лет. Дряхлость как рукой сняло, и я начал верить, что его слова о продлении жизни не пустой звук. Это была поистине удивительная натура.

— Но не говорили ли вы при моем приходе, что состояние здоровья вашего сына внушает вам некоторое беспокойство?

— О, сущие пустяки! Маленькая усталость и слабость, вызванные жарой, а также быстрый рост. Я теперь спокоен.

Мною овладело сильное желание увидеть этого загадочного человека, которого я встретил много времени назад при таких странных и печальных обстоятельствах. Я сказал об этом доктору Ф., но он мне ответил,

что между ним и Тевененом существует договор — никого из посторонних к нему не допускать, и что поэтому он затрудняется исполнить мое желание.

Я не настаивал, и мы расстались.

По дороге домой я много думал о Тевенене, и моя голова почти кружилась под напором мыслей.

Я чувствовал какой-то безотчетный страх перед этим учеником Месмера. Как Паскаль, я видел перед собою разверстую бездну, из мрака которой на меня глядело насмешливо-злое лицо Винсента де Тевенена.

III

В первых числах ноября я получил от д-ра Ф. депешу, в которой стояло: «Мой сын умирает. Зову всех друзей. Приезжайте».

Я вскочил, как ужаленный, и через несколько минут уже ехал к нему.

Положа руку на сердце, скажу, что я ожидал нечто подобное, и депеша не была для меня неожиданной. В минуты отдыха моя мысль возвращалась к Винсенту де Тевенену, и я предчувствовал катастрофу. Не знаю почему, но едва я прочел депешу, как первая мысль была о нем.

Образ доктора Винсента мне представлялся связанным с образами больного ребенка и той несчастной девочки, которую некогда я видел умирающей от непостижимого истощения жизненной энергии.

И вот опять появление этого загадочного старика было связано со смертью...

Погруженный в свои думы, я не замечал, как доехал до лечебницы д-ра Ф.

Войдя к нему, я нашел в зале четырех собратьев по науке, очевидно, приехавших по его зову.

Они были серьезны и молча пожали мне руку. Они уже осматривали ребенка и нашли его положение опасным: у бедняжки было необъяснимое истощение жизненной силы при совершенно здоровом состоянии важнейших внутренних органов.

Вошел отец. Он был в таком отчаянии, что при взгляде на него у меня сжало сердце. Два года назад он потерял нежно любимую жену и всю свою любовь перенес на сына... Увидев меня, он что-то хотел сказать, но рыдания сдавили ему горло. Он взял меня за руку и по-

вел к больному.

Передо мной появилась та же леденящая душу картина, как и десять лет тому назад, с той лишь разницей, что на постели вместо девочки лежал мальчик, изжелта-бледный, совершенно обескровленный, точно от смертельной невидимой раны.

Иллюзия была так полна, что я спросил у доктора Ф., не было ли у больного кровотечения.

Он ответил отрицательно. По его словам, мальчик слабел постепенно, и лишь последние несколько дней ухудшение пошло с ужасающей быстротой. Несмотря на то, он, пока был в силах, выходил в сад.

— Старик Винсент еще жив? — поспешно спросил я, невольно повинаясь какому-то импульсу. Мне показалось, что это спросил не я, а кто-то другой.

Мой вопрос почему-то не удивил доктора Ф.

— Да, и очень огорчен. Он так любит моего Жоржа, который постоянно был около него. Надо будет послать за ним, так как мой мальчик, несмотря на слабость, все порывается к нему. Это какое-то странное влечение, от которого он не может освободиться. Но что нам за дело до Винсента? Исследуйте же больного и скажите мне, ради всего святого, будет ли он жив?

У меня не хватало храбрости сказать ему горькую правду. Если мои коллеги и питали кое-какую надежду на благоприятный исход, то я — ни в каком случае. Смерть была неизбежна. Пока я молчал с жутким чувством в душе, в моем уме промелькнула мысль, заставившая меня вздрогнуть.

В этот момент губы ребенка раскрылись, и голосом слабым, как дыхание, он прошептал:

— Дедушка Винсент.

— Слышите? Он хочет видеть своего друга, — сказал д-р Ф., смахивая слезу.

Но я уже был у окна и, отодвинув занавеси, взглянул на двор. К дому подходил старик, сопровождаемый двумя надзирателями.

Я вскрикнул.

— Ради жизни нашего сына, — торопливо проговорил я, схватив доктора за руку, — не оставляйте его ни на одну секунду и заявите всем, что все, что я буду делать, происходит по вашему приказанию.

— Но что вы хотите делать?!

— Не забывайте... по вашему приказанию!

И, видя, что ребенок начинает приподниматься, я вышел из комнаты.

На лестнице я встретил Винсента.

— Ни шагу дальше! — сурово вскричал я, заграждая ему дорогу.

— Кто вы такой, и что вам нужно? — удивленно спросил он.

И, обернувшись к своим спутникам, сказал:

— Я хочу видеть г-на директора...

— Но я вам повторяю, что вас не пущу. Я действую по приказанию доктора Ф... Он велел немедленно отвести вас в павильон.

Потом, обратившись к служителям и назвав себя, я сказал:

— Один из вас пусть идет к доктору Ф. и передаст ему, что через полчаса я вернусь. Прибавьте, что для спасения ребенка мною будут употреблены все силы. Другой пусть идет с нами.

Мы пошли в павильон. Остановившись в садике, я отпустил сторожа.

Мы остались одни.

Наконец-то я был лицом к лицу с этим таинственным человеком. Я взглянул на него.

Он был очень бледен, глаза его горели.

Мы молча стояли, смотря друг на друга, как два врага, измеряющие свои силы перед смертельным боем.

Наконец, протянув к нему руку и дрожа от гнева, я произнес:

— Господин Винсент де Боссай де Тевенен, вы убийца!

Он только устремил на меня пылающий взгляд.

— О, не пытайтесь меня зачаровать: я не ребенок! — вскричал я. — Вы меня не убьете!..

Он опустил голову.

— Чего вы от меня хотите? Я вас не знаю, — произнес он.

— Но зато я вас знаю, господин Винсент! Помните ли вы несчастную мать (я назвал фамилию, улицу и год), которая десять лет тому назад рыдала у постели умиравшей дочери? Помните ли вы врача, который бесильно стоял у больной? Это был я! Тогда, — продолжал я, отчеканивая каждое слово, — тогда в соседней комнате слышались шаги, и умирающая, сделав последнее усилие, поднялась на постели и упала мертвая мне на руки... На пороге стояли вы...

— Так это были вы! — вскричал Винсент.

— Да, это был я, наблюдавший эту странную смерть и еще более странное преобразование полуживого старика в юношу...

— Продолжайте.

— Помните ли вы также, как в тот же вечер вы просили привратницу вашего дома доверить вам ее сына?

— Она отказала. Правда.

— И вот, спустя десять лет, я встречаю вас здесь, бодрого и крепкого, хотя смерть вас давно уже ищет... Вы живете... а там, наверху, умирает дитя от какой-то странной болезни, ставящей науку в тупик... Понимаете ли вы, господин Винсент, почему я вам помешал войти

туда, где вы надеялись сорвать с губ умирающего последнее дыхание жизни?!

— Войдем, — сказал старик, указывая на дверь павильона.

Он говорил совершенно спокойно, без малейшей тени волнения.

Мы вошли в кабинет, заваленный книгами.

Он подал мне стул и сел против меня.

— Что же вы подозреваете? — спросил он.

Я теперь вполне овладел собой. Я понял, что запугиваньем ничего от него не добьюсь, а потому совершенно хладнокровно сказал:

— Я не подозреваю... Я знаю.

— Что?

— Вы владеете тайной продолжать жизнь с помощью магнетизма. Хотя положительная наука и открыла законы гипноза и внушения, но она не получила еще тех результатов, которыми вы пользуетесь. Ваша наука преступна, ибо она в сотни раз увеличивает ужасное неравенство между борцами за жизнь. Основываясь на вашем собственном признании, я говорю вам, что вы убийца. Осмейтесь же мне сказать, что я ошибаюсь...

Старик Винсент закрыл руками лицо и тихо проговорил:

— Зачем я не встретил вас раньше?

— Вы сожалеете, что не имели случая научить меня вашей ужасной науке?

— Никакая наука, сама по себе, не может быть ужасна. Все зависит от ее применения, — важно сказал он.

— Ваша наука только орудие преступления.

— Не говорите так. Между нею и употреблением, которое я из нее делаю — целая бездна, отделяющая добро от зла, лекарство от яда.

— Но ведь вы сами называли ее преступной?

— Назвал и скажу вам, что я не столько презираю себя за совершенные преступления, сколько за трусость, побуждавшую меня их совершать.

— Трусость?! Уж не боялись ли вы нападения на вас детей?

— Ах, нет, не то! Страх смерти.

— Объясните же наконец, что вы хотите сказать?

— Я вам все объясню, только возьму с вас клятву.

— Какую?

— Вы — человек науки. Я вам хочу открыть важную тайну, но вы должны торжественно обещать, что никогда не воспользуетесь ею для вас самих.

— Я должен поклясться не совершать преступления?

— И никому не открывать того, что сейчас узнаете.

— Хорошо, я клянусь.

— Ну, так слушайте же. Жизнь человека делится на три периода. Первый период — лучеиспускания — продолжается от младенчества и до наступления юношеского возраста. Второй период — потребления или поглощения — длится от юношеского возраста до зрелых лет и третий период, разложения — от наступления старости до конца жизни.

Каждый организм, но в особенности человеческий, который служит самым полным выражением жизни, испускает из себя много жизненности в первый период своего бытия. Дитя поглощает жизненные флюиды в гораздо большем количестве, чем ему нужно, и все его вещество излучает жизненную силу. Во втором периоде человек поглощает ее столько, сколько ему необходимо. Это равновесие сил. В старости же равновесие нарушается и расход начинает превышать приход, откуда слабость и затем смерть.

Теперь, при настоящем состоянии «положительной науки», вам покажется невозможным, что какой-то старик, с помощью особых приемов и вопреки законам

природы, может не только впитывать в себя потоки флюидов, излучаемых детьми, но даже похищать саму жизненность, таящуюся внутри их. Все это, однако, возможно. Да, я преступник, да, я убийца, потому что в продолжение сорока лет возобновлял свою жизнь таким образом. Да, я убивал детей, но не так, как думают невежды или как советовал безумный Иоганн Генрих Кохаузен в своем сочинении «*Hermippius redivivus*», посредством поглощения воздуха, выдыхаемого легкими детей, или еще, по способу легендарных вурдалаков, сосущих кровь... Нет, но притягивая к себе жизненный флюид из всего их организма...

О, если б я мог воздержаться от этого! Но, признаюсь вам, нет более сильного, более притягательно-го, более восхитительного опьянения, чем это! Когда в холодеющие члены проникает этот согревающий и оживляющий флюид, наполняющий все органы, все фибры вашего тела, вы испытываете ощущение, не поддающееся выражению. Вы умирали и вновь ожили...

Напрасно я говорил себе: «Остановись», мое существо жадно поглощало этот волшебный ток... Воля была бессильна, и я убивал... убивал...

Посредством пальцев, посредством взгляда, о, взгляда в особенности, я поглощал жизнь своих жертв, а они были не в силах отойти от меня, испытывая невыразимое наслаждение...

Затаив дыхание, зачарованный его горевшим сладострастием взором, слушал я его речь.

Он рассказал мне все: какие нужно было производить пассы, какое направление давать взгляду и тому подобные технические приемы.

И я внимал ему, опьяненный его словами, как ядовитым напитком.

— Теперь, когда я все сказал, я должен умереть! — вскричал он. — Проводите меня к больному ребенку.

— Злодей! — вскричал я, придя в себя. — Ты хочешь меня сделать участником своего преступления? Никогда!

Он пронизал меня взглядом, и мое возмущение разлетелось, как дым.

— Ты, которого я только что посвятил, — укоризненно произнес он, — разве ты не понимаешь, что *наша* наука дает нам возможность оживлять? Я отдам то, что взял. Ведь я же сказал, что хочу умереть!

Я ему повиновался, так как противиться не мог, если бы даже и захотел.

Через несколько минут мы были у больного.

Едва Жорж слышал шаги Тевенена, как открыл глаза и, поднявшись, протянул к нему руки.

Доктора пошли вслед за нами. Возле постели стоял в глубоком отчаянии отец, ожидая чуда.

Ребенок сидел на постели, качаясь от слабости.

Винсент медленно приближался к нему, устремив взгляд и протянув руки. Пальцы их, казалось, были неподвижны, но на самом деле производили едва уловимые движения, видел которые и знал их значение один только я.

Жорж медленно опустился на подушки и тотчас заснул. Старик приблизился к нему и положил свою руку на его лоб. И, — не могло быть никакого сомнения в том, что я увидел, — на бледном лице больного появился румянец, а в глубине полузакрытых глаз зажегся огонь жизни. Этот человек не солгал: он влил в ребенка похищенную жизнь.

— Ваш сын спасен, — произнес Винсент слабым голосом, обращаясь к доктору Ф., безмолвно наблюдавшему эту сцену.

Потом, обернувшись к присутствовавшим врачам, медленно произнес:

— Господа, засвидетельствуйте, что доктор де Бос-сай де Тевенен, последний ученик Месмера, воскресил мертвого...

После этих слов он пошатнулся и упал бы, если бы я не бросился его поддержать.

— Перенесите поскорее меня в павильон, — прошептал он.

Я поднял его и понес. Он был не тяжелее ребенка.

Повинуясь его желанию, я остался у него. Он стал рассказывать и говорил долго... Я узнал такие вещи, что меня объял трепет. Наверное, ничего подобного никогда не слыхало ни одно ухо смертного. Его слов я никогда не забуду. Со страхом ожидаю я наступления старости, боясь сделаться преступником...

Ребенок поправился.

Винсент де Тевенен умер на другой день.

Один из моих братьев, встретив меня несколько дней спустя, сказал:

— Каков старый-то шарлатан?! Как он удачно воспользовался естественной реакцией!

Я ничего ему не ответил... Я знаю и... боюсь своей науки!

МАГИЧКА

Пер. П. Ратомского

Усталый и состарившийся более телом, нежели душой, я удалился от столичной жизни в маленький город, где родился.

Оставив свою медицинскую практику, я не превратился в нелюдима и отшельника. Старые друзья часто стучались в мою дверь. Два-три вечера в неделю я проводил у знакомых, вступая в оживленные споры с молодежью.

Однажды, на одном из таких вечеров, я увидел над пианино желтую голову с блестящими глазами, лихорадочно глядевшими на меня.

Первое впечатление сказало мне, что эта голова, эти глаза принадлежали очень несчастному человеку, заслужившему свое несчастье.

Должно быть, эта мысль отразилась в моем взгляде, ибо, поймав его, желтая голова вдруг исчезла. Побуждаемый любопытством, я обратился за разъяснением к хозяину.

— А! — сказал он. — Это Ламберт. Несчастный обожает свою дочь, которая умирает.

— Зачем же он пришел к вам на вечер?

Хозяин замялся.

— Видите ли... Он слышал, что вы здесь поселились, и, зная вас как гениального медика, хотел просить...

— Избави Бог! на моей совести достаточно мертвецов, и я не хочу увеличивать их числа.

— Ну да, я говорил ему, что вы отказались от практики, и он не осмелился к вам подойти. Он очень горюет. Дочери его лет шестнадцать; мать, как говорят, покинула ее в младенчестве; она очень больна, и самые знаменитые врачи отказались ей помочь, говоря, что положение ее безнадежно. Вот что он мог вам рассказать... разумеется, вы бы ему отказали, и он умнее сделал, что ушел.

— Пришлите его завтра ко мне! — резко сказал я.

Я возвратился домой, недовольный своим согласием, зная бессилие наших медицинских средств. Я плохо спал и хотел отказаться от вчерашнего обещания, но было поздно — служанка ввела Ламберта в мой кабинет.

Это был маленький, тщедушный и противный человечек: узкий, затянутый в черный сюртук, он имел что-то ехидное в своей походке и злое, дикое, сварливое во взгляде. Впечатление на меня он произвел отталкивающее. Но все-таки я видел, что он сильно страдал, и должен был ему помочь.

Когда мы уселись, он тихим голосом, почти шепотом, стал рассказывать то, что я слышал накануне.

— Так, значит, ваша жена безжалостно вас покинула? Она оставила семейный очаг, не позаботившись о дочери?

Он наклонил голову.

— И не приезжала повидаться со своей дочерью?

— Никогда.

Я уловил в нем затруднение; мне показалось, что он лжет.

Задав несколько вопросов медицинского характера, я узнал средства, рекомендованные врачами. Диагноз колебался, как и всегда в неопределенных случаях; однако, я понял, что все возможные средства были испробованы.

— Идем! — сказал я ему.

Он рванулся с места, будто желая броситься в мои объятия. Мы вышли. Его карета стояла у подъезда, но, так как он жил близко, я предложил ему идти пешком.

Ливрейный лакей отворил нам калитку. Это было немного странно для маленького городка. Парк, окружавший его дом, поражал богатством зелени. Перед дверью дома я остановился, наклонясь к Ламберту:

— Одно слово. Говорит ли с вами ваша дочь о матери?

Он отвечал ворчливо:

— С какой же стати, если она ее не видела?

— Что вы сказали ей о своем одиночестве?

— Сказал, что эта женщина умерла.

Он произнес слова «эта женщина» с такой злобной неприязнью, что мне стало жутко. Он имел вид покинутого, обманутого мужа. Мог ли я его подозревать в преступлении? Мать, бросившая на произвол судьбы своего ребенка, заслуживает меньше сострадания, чем падшая женщина.

Христос такую не приподнял бы с земли, как грешницу.

Не стану распространяться об отделке комнат; все было прихотливо и дорого, но совершенно лишено всякого вкуса.

В комнате, обитой белыми обоями, в устроенном заботливо уютном гнездышке, какое только мог вообразить избалованный вкус парижанина, бледная молодая девушка с темными волосами сидела, откинувшись назад, на высоком стуле. Ее глаза были закрыты, она казалась спящей, ничего не слышащей. Освещение комнаты было редкостное, великолепное, воздух чистейший, но в ней не доставало того, что дает жизнь: ласки, счастья.

Ламберт наклонился к дочери и тихо позвал ее:

— Мария!

Она спокойно открыла глаза и улыбнулась отцу слабой улыбкой умирающей. Отец взял ее бескровную руку и поднес к своим губам.

— Это... друг, который хочет говорить с тобой... он человек ученый, очень ученый!

Мария взглянула на меня чудесными, глубокими голубыми глазами, но странными до сердечного ужаса: это были глаза слепой, с пустым безразличным взглядом, хотя она прекрасно видела.

— Садитесь, пожалуйста! — пригласила она меня.

Ее голос также поразил меня: он был таким же пустым, лишенным звучности.

Я сел и взял ее руку. И вновь у меня возникло странное впечатление, что существо, находящееся передо мной, есть только оболочка, пустая раковина, сверток без содержимого.

Самое внимательное исследование не показало мне никакой аномалии в организме, ни одного симптома, сопровождающего анемию или сухотку. Состояние ее легких опровергало всякое предположение о чахотке. Больная не жаловалась ни на одно болезненное ощущение и лишь сказала мне:

— О! Я знаю, что вы хотите узнать... Но у меня ничего не болит. Недостает мне лишь жизни!

Жизни! да, она была права: именно этой невыразимой силы, невидимой, но реальной, этой мощной волны жизни, неведомо откуда приходящей, недоставало в этом нормальном организме.

Она мне объяснила, что, будучи маленькой, она чувствовала себя гораздо более крепкой; но далее, с каждым годом, силы ее все более и более слабели, резерв истощался, не имея нового притока.

— Что вы хотите, — добавила она, — при рождении во мне было мало жизненной силы, — вот и все.

Она говорила это безропотно, своим пустым, безжизненным голосом, лаская меня своим пустым, безжизненным взглядом.

Жизни! жизни! Но как открыть этот неисчерпаемый резервуар природы, чтобы взять хоть одну каплю, нужную для оживления этого нежного с изданием? Несчастный, тупой врач, что ты сделаешь с твоим многолетним запасом знаний, всегда бессильных! Ты выдумал перегонку крови, и ты гордился! Но кровь дает лишь пищу для жизни, а не создает саму жизнь!

Жизнь! Он был миллионер, этот Ламберт, и он отдал бы последний луидор, чтобы добыть хоть один атом этой жизни!.. И после этого смеются над алхимиками, который стремились к верной цели!

Что я мог ответить отцу на его вопрос? Мне было стыдно моего бессилия, и я отделался тем, что с первого раза нельзя все выяснить, что, собственно, нельзя терять надежды — и тому подобным вздором.

Но когда этот человек сжал мою руку, впиваясь в меня благодарным взглядом и веруя, что возможно выздоровление, я чуть ему не крикнул:

— Бей меня... я лгу! я лгу!

Как полоумный, прибежал я домой, чтобы скрыться здесь с моим бессильным невежеством... Я показал кулак библиотеке в моем кабинете — от чтения этих книг академия нетерпеливо ждала капитального вклада в науку.

И я, большой медик, известный, популярный, признанный, упал в кресло, задыхаясь от рыданий!.. На моих глазах умирало молодое существо, и я ничего не мог сделать, чтобы его спасти!

Заранее я знал исход и все-таки хотел бороться. Целую неделю я приходил к больной, сидел подолгу с ней, как родственник, строил догадки, старался заглянуть ей в грудь и в череп, чтобы узнать причину слабости, и только слышал от нее одно:

— Я знаю, я знаю... жизни мне недостает.

На восьмой день я потерял всякую надежду; организм быстро разрушался. Я видел ясно — и в этом была единственная привилегия моей учености — что в медицине нет ни единого средства, чтобы отодвинуть смерть хотя бы на шаг.

Я почти признался в этом отцу. С искаженным лицом он скрипел зубами и кричал:

— И вы, как все! И вы, как все!

Я убежал за город в поле. Я громко сетовал на немую природу, глухое небо, сияющую кругом жизнь, я проклинал их невозмутимое спокойствие!

В полночь, когда я вернулся домой, служанка встретила меня словами: «Наверху вас более трех часов дожидается дама!»

— Дама! Не принимаю никого!..

И вдруг на лестнице предстала темная фигура с белеющим лицом и светящимися глазами; и, не зная зачем, я сказал:

— Вот и я! простите, мадам, вот и я!

Я вошел по лестнице, предшествуемый незнакомкой, в кабинет и инстинктивно запер дверь.

Взяв с бюро лампу, я поднял ее вровень с ее лицом. Это была сильная брюнетка с матовым лицом и высоким лбом, из-под которого глаза сверкали, точно бриллианты.

— Кто вы, мадам? — смущенно спросил я.

— Меня зовут госпожой Ламберт, — ответила она.
— Я мать умирающей девушки.

Странное дело: этот ответ меня не удивил, я словно ждал его.

Мадам Ламберт села против меня, и я снял абажур, чтобы лучше ее видеть. Ей было лет не больше сорока, и она была замечательно красива; не столько по правильности своих черт лица, сколько по благородному, интеллигентному выражению.

Однако, несмотря на восторженное удивление, я вспомнил брошенную ею дочь и грубо спросил:

— Что вам от меня нужно?

— Моя дочь умирает...

— Правда. Ну, а вам-то что до этого?

Она сдержанно и гордо улыбнулась.

— Я ее спасу, — сказала она.

— Вы!

— Я...

И она посмотрела высокомерно в мои глаза.

Я позабыл всякую жалость после этого и резко отвечал:

— Без громких фраз. Ни вы, ни даже я не в силах возвратить жизнь вашей дочери. Я испытал все возможное. Зачем вы, собственно, ко мне пришли? Чтоб попрекать меня, как врача?..

— Вы не заслуживаете этого, ибо вы не знаете, отчего она умирает.

— А вы, быть может, знаете?

— Да... она умирает оттого, что около нее не было матери.

Я зло захохотал.

— Вы говорите это, вы!.. Так, значит, вы ее убийца, вы ее бросили бессовестно, бесчеловечно!

Она всплеснула руками:

— Не я ее оставила, меня выгнали... со мной обращались, как со служанкой, как с врагом семейства. Я ушла от муки страшнее смерти.

— Вы должны были ваять с собою дочь!

— Я не могла.

— Должны были требовать судом, похитить, наконец!

Она приблизила к моим глазам бумагу, и я прочитал, остолбенев:

«Свидетельство о смерти Марии, дочери Якова Ламберта и... умерла в двухлетнем возрасте...»

— Это чушь! — воскликнул я.

— Вот письмо, с которым отец мне прислал это свидетельство...

Это письмо состояло из грубых фраз, ложно извещающих о смерти дочери и запрещающих матери являться на порог дома. В них не было упрека за измену

или какую-либо вину, в них чувствовалась дикая ненависть и больше ничего.

Мадам Ламберт мне рассказала свою несчастную историю с удивительным спокойствием и глубиной критического взгляда. Отец ее был ревностный алхимик. На свои изыскания он убил все свое состояние и впал в долги, в зависимость от ростовщика Ламберта, который поставил ему выбор: или стать нищим, или выдать дочь замуж за его сына. И, вот, она принесла жертву для отца, тем большую, что сын Ламберта гордился артистическими вкусами, называл себя поэтом, музыкантом, живописцем.

— Я была молода, без матери; я для отца решилась на брак, и вдруг — отец мой вскоре умер, не окончив своей ученой работы. И тут-то началась для меня ужасная жизнь, которую я вряд ли сумею вам обрисовать. Мой муж, это бездарное, хвастливое ничтожество с претензиями на талант, на гениальность, которой у него не было, стал ревновать меня к моему вкусу, пониманию, и возненавидел меня всей своей злой, испорченной натурой. Клянусь, что и его щадила. Хотя сама я превосходно воспитана покойным отцом, я изучала химию и помогала ему в его работах, но, повторяю вам, я всячески щадила своего мужа и, чувствуя, что скоро стану матерью, старалась всеми мерами его не раздражать, хвалить его бездарные картины и школьные, ребячьи композиции. Но он кричал, что я хитрю, что я его не ставлю в грош, ревную к славе... Что было делать со злым глупцом, полупомешанным? Я родила дочь, хотела ее сама кормить, — он взял кормилицу; когда я воспротивилась, — он говорил, что я хочу ее отравить за то, что она на него похожа. Чем больше он мне делал зла, тем больше ненавидел. Два года я терпела все ради малютки. Но он нас разлучил: отправил ее куда-то далеко с кормилицей!..

Я умоляла, плакала.. Что много говорить? Однажды он хотел мена убить, бросился на меня... я испугалась, убежала. На другой день я пришла... Но дом был пуст. Я бросилась за дочерью, но он ее отправил неизвестно куда. Я хлопотала целый год, — никакого следа! И, наконец, я получила это письмо с ложным свидетельством. И вот, шестнадцать лет я оплакивала эту ложь.

— Но как узнали вы, что дочь ваша жива?

Она взглянула мне в глаза внимательным взглядом, как бы желал убедиться в степени моей разумности.

— Знаете вы Джона Гарвея Шмидта?

— Еще бы, — воскликнул я, — великий американский химик известен всем, а мне тем более! Смотрите, — повернулся я к библиотеке, — все его книги у меня... Я часто их читаю. Он гениальный химик, да! Жаль только, что пустился в философию...

Она перебила мою речь:

— Вот его письмо к вам.

— Ко мне?... Но он меня не знает...

— Однако, прочитайте.

Письмо было адресовано мне. Гарвей Шмидт взывал к моей доброте и доверию. Он заклинал меня оказать содействие госпоже Ламберт, его ученице и сотруднице. Письмо оканчивалось так: «Я убежден, что вы не из тех ученых, которые думают, что знание кончается там, где больше ничего не известно».

— Вы — ученица Гарвея Шмидта? — спросил я с благоговением. Весь мир знал этого человека, приоткрывшего врата неизведанных тайн жизни.

— Мой отец знал его еще молодым. Случайно я с ним встретилась. Одна, без дочери, я с удовольствием принялась за изучение наук, и химии особенно.

Читали вы его последнюю книгу «О сверхчеловеке», которую люди так плохо поняли? Да, я много лет уже не оставляю Гарвея Шмидта.

— Так это вы его знаменитая помощница, которую во Франции знают по описаниям, под именем «*Магички*»?

— Да, это я, — сказала она просто.

Так вот кто она! При всем моем уважении к Гарвею Шмидту, я не мог забыть о ее сеансах в Америке с вызовом духов и передвижением предметов, что вызывало странное отношение парижских ученых, видевших в этом фокус и аферу.

— Поздно уже, мадам! Признаться, я устал. Можете вы коротко ответить на два-три вопроса?

— Пожалуйста.

— Вы из Америки?

— Прямо оттуда.

— Когда вы выехали?

— Я не могу сказать вам.

— Отчего?

— Потому что я не имею права доказывать вам, что говорю правду.

Гнев охватил меня.

— Не потому ли, верней, что я поймаю вас на лжи?

Она протянула ко мне руку:

— Сегодня в семь часов моя дочь сказала вам: «Я знаю, знаю... жизни мне недостает!»

Я вскрикнул от удивления: эти слова были произнесены, и я был уверен, что никто, кроме меня, их не слышал. Уж не пряталась ли она в соседней комнате? Злое сомнение охватило меня.

— Вот что, мадам, если хотите убедить меня, что вы обладаете магической силой, то сделайте какое-нибудь чудо... ну, самое простое... Вот, передвиньте это перо силой вашего взгляда...

— Нет, я не сделаю ничего, что вам угодно называть чудом...

— И так всегда, когда подобные нам находятся перед лицом скептика, могущего вас разоблачить,

— Я не сделаю ничего, потому что не имею права тратить хоть миллионную частицу моей силы, ибо эта сила нужна мне для спасения моей дочери.

— Ну, мадам! Не думайте, что я верю в ваши силы. Я не желаю знать о разногласиях в вашей семейной жизни. Я знаю лишь отца, который воспитал вашу дочь и вырастил ее. Если хотите видеть вашу дочь, идите к мужу...

Ее лицо оделось грустью, и видно было, что она силится остаться спокойной, совладать с собой.

— Я не могу этого сделать именно потому, что желаю спасения моей дочери. Вы отрекаетесь от меня, оскорбляете, готовы меня выгнать... Но внемлите же долгу матери, во имя которого я к вам пришла.

Она охватила голову руками.

— Да нет же, нет!.. Я могу убить ее... Это я знаю!

Я умоляю вас лишь об одном: завтра, в ранний час, идите к Ламберту... скажите, что я здесь, что я прошу лишь позволения побыть с полчаса подле дочери, в его присутствии, для возвращения ей жизни... Просите его, умоляйте... Но вы его не знаете! Увидите, что он откажет!.. Что мы тогда будем делать? Как я несчастна, Боже мой!

Я видел непритворное горе матери и согласился:

— Я пойду к нему.

— В котором часу я должна быть здесь?

— Завтра в десять. Но... ночь ужасно темная, я провожу вас...

Она отказалась и вышла. Странные чувства остались во мне: и презрение, и симпатия, и ненависть, и удивление. Я целую ночь сидел за книгой Гарвея Шмидта.

В девять часов утра я пошел к Ламберту. Больная была в том же печальном состоянии, но только я при-

близился, она слегка затрепетала, чего с ней прежде не было, слегка притянула меня к себе, когда я взял ее за пульс, и с любопытством потрогала мой рукав... Она была мертвенно бледна, и я с минуты на минуту боялся кризиса. Отец ждал меня на пороге.

— Я должен вам сказать по дружбе... — начал я.

Его покорило.

— Я не хочу вмешиваться в вашу личную жизнь, но, как врач, должен сказать, что мне пришла идея...

— Какая идея? — спросил он подозрительно.

— Из ваших уст я слышал о несчастье вашей дочери; ее мать...

— Мать!.. Эта женщина!.. О ней вы хотите говорить?!

— Она жива, быть может.

— Мне-то что за дело?

— Позвольте! Как бы ни была она виновна, нельзя ей отказать в свидании с умирающей дочерью...

Он перебил меня с пеной у рта:

— Я убью, убью ее! Она меня ненавидела, презирала; в ее глазах я был бездарным, бесталанным!.. Она считала знающей только себя, как будто я не выше ее в сто раз... в тысячу раз выше!.. Вы знаете, где она сейчас? — скажите мне! Я ей скажу, что ее дочь не умерла... Но пусть умрет, — лишь бы она страдала. Я хочу ее видеть задыхающейся от рыданий. О! я порадуюсь... она поймет тогда, что я был не так глуп, как она воображала!..

Но это сумасшедший! Он говорил без остановки. Да, я понял, что она была права: он ненавидел ее, это ничтожество не могло перенести ее тихого, кроткого превосходства. Это — невероятная болезнь злого ничтожества перед лицом таланта и ума. Этот больной злой человек казался мне чудовищем. Но он ведь, однако, обожал свою дочь.

— Слушайте, — сказал я, схватив его за плечи и касаясь лицом его лица, — ваша дочь не может быть спасена без матери!!

— Но если я хочу, чтобы она жила, — закричал он, — так только для того, чтобы ее мать считала ее мертвой!!

Не знаю, как я не дал ему оплеуху, не наплевал ему в лицо!

Я все ясно представил себе: всю правоту, всю честность матери и все безумство этого злого человека.

— Так, так, — схитрил я, — не волнуйтесь. Будем говорить о вашей дочери. Сегодня, на мой взгляд, ей несколько лучше. Я загляну к вам перед обедом. До свидания!

Возвратись домой, я застал ожидавшую меня мадам Ламберт. Она прямо меня спросила:

— Теперь вы согласны помочь мне для спасенья дочери?

Я отвечал кивком. Но когда она заявила свои требования, я испугался: она хотела в эту ночь проникнуть в спальню дочери. Как мог я провести ее? Но она не нуждалась в моем содействии. Она только хотела, чтобы я был ночью в этой комнате и сделал все, что будет между нами условлено.

Все это было странно, необъяснимо, непонятно. Но я так ненавидел сумасшедшего отца; я понял, что отеческой любви у него не было, а был дьявольский мстительный эгоизм; я так жалел Марию и ее мать, что отдал себя в распоряжение этой последней.

И вот что она мне сказала:

— Моя дочь умирает от того, что у нее не было матери. Вы, врачи, думаете, что связь, жизненная связь между матерью и ребенком нарушается после родов; но эта связь продолжается долго и невидимо, и вся жизненная сила матери переходит в ее ребенка. Вот поче-

му так часто умирают дети, лишенные матери. Именно потому, что не имеют силы для борьбы за жизнь без этой невидимой жизненной нити, связывающей их с матерью. Так было с моей дочерью. Я должна ей отдать все, что у нее без меня было отнято.

Два слова об отце! Это злой человек. Над каждым человеком есть излучения добра и зла, каждого окружает атмосфера его достоинств или пороков. Вы знаете отца и можете понять, чем дышала дочь в мое отсутствие; она была как птичка, посаженная под стеклянный колпак с угольной кислотой.

Вы еще не знаете, что я могу сделать, но, может быть, уже догадываетесь... Вот, вы увидите. Клянусь, что я спасу ее! Что будет со мной? С отцом? Вы это тоже увидите.

Сознаюсь без стыда, что эта женщина меня завоевала, и я готов был слушаться ее распоряжений.

Уговорившись с ней о предстоящей ночи, я возвратился к Ламберту и объявил ему, что выдумал решительное средство для спасения его дочери. Я показал ему склянку с таинственным питьем, которое надо давать такими маленькими дозами, какие мог отмерить только я; а потому я потребовал, чтобы в эту ночь он не мешал мне просидеть у изголовья его дочери до самого рассвета и чтобы никаких помех и шума в доме не было: малейший разговор, скрип двери может погубить все дело и вместо спасения ускорить смерть.

Он согласился без затруднения, не придавая, очевидно, значения нашему утреннему разговору.

В девять часов я был возле Марии. Все было тихо и безмолвно. Она лежала бледная, с закрытыми глазами... Спала ли она?

Мадам Ламберт мне заявила, что ровно в десять часов она будет в той же комнате. Но как она войдет? Каким ходом? Однако я был уверен, что она сдержит

свое слово. По ее указанию свет лампы был мной уменьшен до степени, когда я мог различать строчки книги, но не буквы. В десять часов на меня вдруг повеяло холодным воздухом, как будто из открытого окна, и в двух шагах, у занавесок кровати, я увидел неясные очертания женщины, которые делались все живее и реальнее... Мадам Ламберт была передо мной. Она знаком подозвала меня к себе.

Я подошел. Это не было астральное явление, нет, — то была живая женщина.

— Попробуйте мои пульс, послушайте биение моего сердца; уверены ли вы, что я вполне нормальна? Я хочу знать это наверное! — сказала она мне.

Я исполнил ее желание и убедился, что передо мной здоровая энергичная натура. Я объявил ей это.

В этот момент Мария шевельнулась.

— Надо, чтобы она спала. Я не хочу, чтобы она видела меня. Кто знает, может быть, она чувствует меня? Я боюсь, что в поцелуе я потрачу слишком много нужной силы.

Она протянула над Марией свои руки, и та погрузилась в сон. Затем, говоря очень тихо, она дала мне флакон с эфиром и стальной ножик с острым концом.

— Приступим к делу, — сказала она. — Надеюсь на вас и на то, что вы не будете худо говорить о людях, знающих Магию.

Я наклонился, чтобы поцеловать ее руку, но она высвободила ее и указала мне место подле ее дочери.

Я увидел, как мадам Ламберт вытянулась в кресле, на котором всегда сидела Мария; оно было в двух метрах от кровати. От лампы шел голубоватый свет; предметы были еле заметны. Но я хорошо видел черную фигуру матери, лежавшей в кресле с запрокинутой назад головой. Вокруг ее тела я заметил как бы беловатый туман, как бы легкое облачко, и в то же время в воз-

духе засверкали маленькие блески вроде микроскопических комет красноватого цвета, с фиолетовым дымным хвостиком.

Я так устроен, что анализирую каждое явление, тем более происходящее с человеческим существом; поэтому я сидел так же спокойно, как у себя в лаборатории и, помня наставления мадам Ламберт, откупорил флакон с эфиром и набрызгал легкими каплями линию между матерью и дочерью. Затем, как было мне раньше указано, пальцем, обмоченным в эфир, я тихо прикоснулся к одеялу, покрывающему больную, в том месте, где находилось сердце. Облако, окружавшее мать, сгустилось и покрыло ее всю; только в том месте, где находилось ее сердце, потянулась тонкая блестящая струйка по линии, набрызганной эфиром, к кровати больной.

В этот момент Мария вскрикнула, как будто от укола и, выгнувшись всем телом, жадно подставила свое горло под эту блестящую воздушную струю. В облаке, окружавшем мать, сновали вверх и вниз блестящие искорки... Затем все успокоилось, и лишь эта воздушная струя, напоминая яркий солнечный луч, несла в себе густую массу атомов по направлению к больной точь-в-точь, как в акте перегонки крови.

Я встал, взял Марию за руку и нащупал пульс. Этот пульс, который утром едва ощущался, теперь был жизнен, полон силы и энергии. Больная, не могшая поднять головы, вдруг, без помощи рук, села на кровати...

Я взял данный мне нож и резанул блестящую воздушную струю... что-то горячее окутало мне руку... я бросил на пол нож, согласно уговору, и подбежал к мадам Ламберт, недвижимой, страшно побледневшей, дунув ей в лицо.

Ее глаза открылись.

— Лампу, лампу! — крикнула она.

Я прибавил огня. Мадам Ламберт была уже за моим плечом и любовалась на снова глубоко спящую дочь.

— Она проспит до утра: она опьянела от данной ей жизни...

Я почувствовал, как мать облокотилась на меня и обернулся: она была бледна, как смерть, обессилена, но ее глаза были полны восторга от избытка материнской любви.

— «Магичка» показала свое чудо, — прошептала она. — Я вся ей разом отдалась... Доверяю ее вам, любите, сделайте ее счастливой.

— Поцелуйте ее, — предложил я.

— Нет, нет, это эгоистично... Я не хочу ничего брать от нее обратно.

— Но вы страдаете, вам надо оживиться...

— Я, я... Да разве вы не поняли? Теперь *мне* жизни не хватит!..

Сделав мне несколько указаний о пользовании дочери, она попросила меня отвернуться и пошла к занавескам кровати, в которые, судя по шелесту, завернулась... Я поглядел в ту сторону, но в комнате ее уже не было!!

Что вам сказать еще? Мария быстро встала на ноги. Отец, видя ее цветущей, здоровой, почувствовал к ней отвращение. Здоровая жизненная атмосфера, хлопотавшая теперь около дочери, была ненавистна его злому болезненному уму: рожденные в ядовитой атмосфере и привыкшие к ней задыхаются на чистом воздухе! Он возненавидел дочь так же, как мать, за ее жи-

вой, бойкий, насмешливый ум, не щадящий злого глупца. Под предлогом лечения я уговорил его отправить Марию на юг с одной из моих старых подруг, и он поспешно согласился. Она уехала в Ниццу. Через полгода она стала сиротой.

На другое утро после чудесной передачи жизни я нашел на своем бюро записку и узнал слабеющую руку мадам Ламберт. Вот что там было сказано: «Мать исполнила свой долг... и теперь умирает...»

Остаток моей жизни я играл роль дедушки... Из дочери «*Магички*» я сделал счастливую супругу и преданную мать.

ОБ АВТОРЕ



Жюль Лермина (1839-1915) в молодости был радикальным социалистом и кочевал с одной должности на другую, прежде чем обратиться к журналистике. В 1867 г. он основал политический журнал «Корсар», вскоре попал в тюрьму, откуда был освобожден после ряда протестов (за него заступился, в числе других, и В. Гюго). Новый журнал «Сатана» вновь привел его за решетку.

В 1870 г. Лермина был освобожден, после чего недолго прослужил в армии и успел поучаствовать во франко-прусской войне. По возвращении в Париж он снова обратился к политической журналистике и занялся написанием популярных романов.

Обширное наследие Лермина включает около четырех десятков исторических, приключенческих и фантастических романов (среди них — написанные под псевдонимом «Уильям Кобб» «Тайны Нью-Йорка» и два продолжения «Графа Монте-Кристо»), несколько сборников повестей и рассказов, биографические, исторические и политические сочинения (в том числе анархический «Алфавит либертарианизма», 1906). Лермина был тесно связан с кругами спиритуалистов и оккультистов и в 1880-х — первой половине 1890-х гг. написал также ряд оккультных произведений, два из которых вышли с предисловиями небезызвестного Папуса (Ж. Анкосса).

Русский перевод «Вампира» (в оригинале «L'elixir de vie», 1890) был впервые напечатан в петербургском оккультном журнале «Изида» в №№ 2-6 за четвертый год (ноябрь 1912 – март 1913 г.).

Сокращенный перевод «Магички» («La Magicienne, 1892) был впервые напечатан в № 9-10 того же журнала за четвертый год издания (июнь-июль 1913).

Орфография и пунктуация текстов приближены к современным нормам; исправлены очевидные опечатки и некоторые устаревшие обороты. С целью большей доступности для современного читателя, текст перевода «Магички» был нами отредактирован.

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.